

УДК 82-3
ББК 84(7)
УЗ6

THE CHANGELING
Joy Williams

Иллюстрация на обложке: Kelly Louise Judd

Уильямс, Джой

УЗ6 Подменыш / пер. с англ. Д. Шепелева. — Москва: Лайвбук, 2020. — 384 с.

ISBN 978-5-907056-56-5

Перл — молодая жена и мать — теряет в авиакатастрофе мужа и остается жить с его семьей на острове. Население острова невелико: брат мужа, его странная жена, опустившийся профессор и дюжина детей. Детей ли?

Джой Уильямс — номинант Пулитцеровской премии, виртуозный мастер слова и гений-мыслитель, чей роман «Подменыш» вышел в 1978 году и сильно опередил своё время.

Как пишет переводчик книги Дмитрий Шепелев: «Это роман о любви и отчаянии, о женщинах и мужчинах, о взрослых и детях, о людях и зверях. Подобно жизни главной героини, он виртуозно избегает смысла, как птица — ловушки, он для этого слишком прекрасен, слишком чудовищен, слишком правдив. Эта история словно атональная симфония, шоковая терапия, стихийное бедствие — она вывернет вас наизнанку и заставит смеяться сквозь слезы. И главный жизненный урок, который вы получите: не спрашивай, за что мне это, спроси, зачем?»

© 1978 by Joy Williams

© Дмитрий Шепелев, перевод на русский язык, 2020

ISBN 978-5-907056-56-5

© Livebook Publishing, оформление, 2020

предисловие

Сорок лет спустя после первой публикации «Подменыш» кажется таким же причудливым и подозрительно знакомым. Читатели, впервые открывающие для себя второй умопомрачительный роман Джой Уильямс, могут с удивлением почувствовать первородное *déjà vu*; покалывание на коже головы в том месте, где во время оно росли рога. «Подменыш» как будто напрямую обращается к настоящему времени, с его сводящей с ума жаждой духовного и угрозой экологической катастрофы, но этот резонанс кажется едва ли не случайным для глубокой, безвременной силы, таящейся в этой книге. Ведь каждая великая книга растет со своими читателями. И все-таки «Подменыш» — это что-то еще более неистовое: он порождает собственную самобытную магию, словно бы никак не связанную ни с читателями, ни с настоящим

моментом. Дух, живущий в этой книге, превосходит человеческий — и намного. Наверное, критикам слегка не по себе, когда их дыхание не оставляет следов на стекле. Но читать эту книгу, надеясь узнать в ней свои черты, было бы ошибкой. «Подменьши» — это не зеркало: это окно. Оно ничуть не склонно отражать досужие драмы человеческой жизни или воспроизводить привычную грамматику человеческого мышления — и это бодрит и будоражит. Язык книги открывает портал в «холодные и недоступные глубины». Она нацелена на кардинальное перерождение.

Овидий, Шекспир, Моррисон, Бог... И Джой Уильямс вместе с ними увлечена метаморфозами и «чудовищностью спасения». Сами ее предложения заключают в себе первобытную магию. Они выходят, мерцая, из невысказанных таинственных глубин и легко проскальзывают сквозь губительные сети общепринятого понимания. Героиня романа, Перл, говорит о своей жизни: «Она избегает смысла, как птица — ловушки». Критики поразительным образом обходят стороной «Подменьша», но, возможно, такое молчание является своеобразным знаком признания книги, живущей по своим законам. Словно сказочная рыба, бороздящая воды с россыпью крючков во рту, «Подменьши» остается неуловимым.

Рикки Дюкорнэ считает *«Подменьша»* величайшим романом Уильямс. Кейт Бернхаймер — крестная мать и глашатай этой книги, героическими усилиями добившаяся ее переиздания в 2008 году в журнале «Фэйри тэйл ревью» — называет ее «одной из наиболее ошеломляющих и важнейших работ двадцатого века». Напрашивается желание пожуричь два поколения читателей, прошедших, по большому счету, мимо столь очевидного шедевра. Но подобный прием в предисловии всегда казался мне довольно бестолковым, все равно как начинать читать лекцию точно по времени, даже если слушатели еще не пришли. Читатель, прошу занести в протокол: ты здесь.

А еще напрашивается вывод, что *«Подменьши»* обогнал свое время. Пространные метафоры о времени претят мне — в них непременно ощущается миссионерский дух, а также неоправданный оптимизм в отношении человеческой эволюции. Я считаю, что подобная оценка слишком льстит нашему виду. Мы никогда не «догоним» Джой Уильямс; она — это уникам, звезда первой величины. И *«Подменьши»* никогда не станет историей былых времен, даже через сотню лет. Это молодая история; ее ландшафт — чрево мира, ее язык неумолимо юн, и единственное, что я могу сказать о ней

с абсолютной уверенностью, это что ваше погружение в нее будет совершенно непохожим на мое.

«Подменыш» открывается как история молодой матери в бегах: «В баре сидела молодая женщина. Ее звали Перл. Она пила джин с тоником и держала правой рукой младенца».

Что показательно в этом предложении: выпивка предшествует младенцу. Его зовут Сэм; ему два месяца. Мы как будто в хорошо знакомом мире, мире гнетущего однообразия: парковки и вафельные трубочки, типовой для Флориды общепит. В такой «одежке» встречаются нас первые полтора абзаца романа, после чего он выразительным жестом сбрасывает ее:

За окном была Флорида. Через улицу высился белый торговый центр, перед которым выстроились белые седаны. Тяжелый белый воздух висел слоями. Перл видела их предельно отчетливо. Средний слой был сплошь сновидение и недопонимание и ответственность. Поверху вещи двигались с несколько большим апломбом и напором, а на дне было неугомное настоящее. Оно было здесь и сейчас, оно всегда было здесь и сейчас и впредь намеревалось

быть здесь и сейчас. Перл всегда сознавала это. Обычно это делало ее умеренно безвольной и нерешительной.

Это что касается первого впечатления. И тут же наш пробный набросок Перл — мамочки легкого поведения, Перл-пьянчужки вспыхивает и сгорает, затмеваясь Перл-мистиком. Уильямс знакомит нас с женщиной, пронизанной ясностью восприятия. Минута за минутой, один тающий кубик льда за другим, Перл с чудовищной ясностью сознает распадающийся момент настоящего и «всегдашнее никогда». Ее пассивность, если вам нравится такое определение, может быть прочитана как знак парализующей остроты ее понимания. Перл-мать становится Перл-провидицей, и она провидит время.

Роман Уильямс рассматривает тиранию времени. Мы живем во власти его чар, поработанные его одуряющей физикой: находясь под тяжким бременем бессодержательных воспоминаний, мы ежесекундно равноудалены от воображаемого будущего. Перл, будучи в смиренной рубашке неизбежного настоящего, вздрагивает и видит, что ее муж, Уокер, нашел ее; Уокер всегда был намерен найти ее. Если раньше Перл видела отца Сэма «своим сердцем», то теперь она приходит к ужасающей

догадке, что он «скорее хирург, нежели муж, хирург, который сделает вам последнюю, неудачную операцию». Уокер пришел, чтобы утешить свою жену и сына назад «домой», на частный семейный остров в Северной Атлантике, окутанный туманами и управляемый Томасом, бледным и злобным братом Уокера. К наиболее ярким и тревожным фрагментам романа относится путешествие с материка на остров, во время которого мы чувствуем, как Перл постепенно, по кусочку, теряет свою идентичность:

Когда они выдвинулись в путь, небо начало медленно сереть, окрашиваться матовым серебром, как внутренняя сторона ракушки. Мимо них пролетел одинокий баклан, почти вплотную, цвета железа в тумане.

Время шло. Ей становилось теплее. День был на редкость бесцветным и стылым, но у нее возникало уютное ощущение. Она словно светилась, просвечивала изнутри, словно в этом путешествии в ней поселилось солнце, однако вместе с этим она чувствовала, как солнце становится чем-то другим, — вот так запросто — она понимала, что уже никогда не сможет стать тем, чем была когда-то.

Семь часов тянутся как семь дней. Число семь, «число совершенства, завершенности», сверкает то здесь, то там по всему роману, пульсируя особым смыслом. Романное действие забрасывает нас в царство животных, мифологии, область, вызывающую ощущение чего-то зловещего и потустороннего, пусть даже туда каким-то образом доходит «Атлантик». На первый взгляд дом, куда попадает Перл, напоминает «сезонный отель»: библиотека, в которой подают коктейли, теннисные корты, сауна. Над всем витают кровосмесительные вибрации и особый душок дурной наследственности. Здесь живут недобрые старые деньги, как и по всей Новой Англии; состояние дедушки Аарона нажито на ловле и свеживании животных. Но кроме того, в доме имеется диковатая свора детей; золовка Мириам, которая, подобно мифической ткачихе, сшивает обрывки чужих загубленных жизней в лоскутные юбки; зять Линкольн, ухмыляющийся онанист, который горстями ест шоколад и дрожит в сауне; сестра Уокера, Шелли, пирожок с ничем, надутая и пустая; и Томас, безумный ученый, чей бич — «образование». Если вы считаете своих родственников «трудными», после знакомства с этими людьми следующий День Благодарения покажется вам непринужденной забавой.

Именно Томас — не Уокер — причина бегства Перл с острова. Томас — это «человек мира». Дети — его узники, заложники его амбиций на их счет: «Он держал близнецов и говорил с ними на французском, на латыни. Говорил с ними об Утрилло, о рыцарях, о компасах». Близнецам четыре месяца от роду. Томас не знает снисхождения. Он фарширует детей фактами, словно несчастных утят, которых откармливают для фуа-гра. Он окружает себя детьми для собственных целей. Как родными, так и приемными, сиротами. «Дюжина детей или около того», согласно настораживающе беспечному замечанию Уокера. Томас обращается с детьми, как искушенный садовник — с растительностью: гнет их необузданную натуру причудливыми формами. Он прививает им «светские манеры и интеллектуальный голод». Перл с опаской признает, что он калечит детские умы. Он — взрослый. А взрослый — это тот, кто говорит: «Это не отвечает здравому смыслу», упуская из виду большую часть тварного мира.

Этот роман тербит корявый шов никогда не заживающей раны детства. Как мы узнаем в начале, «Перл никогда не могла определить-ся, следует ей относить себя к детям или взрослым». К концу романа становится ясно, в чей мягкий темный зрачок она втянута.

В «Подменьше», как и в большей части прозы Уильямс, ДНК ее предложений увиты спиралью рождения и смерти. Один такой лихорадочный абзац показывает нам, как Перл расщепляется надвое: она становится матерью. «Она рожала на обширном свежескошенном поле. На траве была кровь, но не обязательно ее... Ее бедра были раскинута. Ее руки были раскинута. Она собиралась родить ребенка». Позже, в сцене, отмеченной эхом ужаса и кладбищенского юмора, Перл вылетает со своего места в самолете в ночной простор. Самолет разламывается пополам. «Возможно, вот так и происходит смерть, — размышляет Перл, летящая вниз. — Ты просто раскидываешь руки и летишь домой». Болото, в которое падает самолет, кажется реальным и в то же время нереальным, «полярное сияние трав — это был Эверглейд*»; Перл пробирается через стремнины, окутанные желтым дымом, где мертвые встречаются с живыми.

Перл не умирает, но ее первая жизнь подходит к концу. Овдовев в результате катастрофы, она возвращается на остров с ребенком, однако не своим. (Тем читателям, которые по

* Болотистая местность на юге штата Флорида, буквально «болотистая равнина, поросшая травой». — *Здесь и далее примеч. пер.*

понятым причинам волнуются, что я разбазариваю интригу романа, могу сказать, что им не стоит волноваться; интрига этой книги в чем-то совсем другом.) Настоящего ребенка Перл, как она подозревает, подменили эльфы. Этот новый ребенок — всем известный секрет, спрятанный «в чем мать родила». Как и в случае с безымянным моряком Мелвилла, которого мы зовем Измаил — что мы знаем о нем? Он Не Сэм.

Тем не менее Перл относится к нему все так же по-матерински. Ее захватывает мир детей на острове. «Вообще говоря, дети были словно пьяницы, всегда готовые к безудержной и бессвязной болтовне. В этом отношении Перл их более-менее понимала». (Здесь — и по всему роману — неизменно меткие наблюдения Уильямс закалывают читателя из темноты, неожиданно пробивая на смех. Часто в самые кошмарные моменты книги я начинала истерически хихикать, проветривая свои легкие. Больше прочих меня почему-то пронял вот этот беккетовский юмор с каменным лицом: «Сэму понадобилось почти семь лет, чтобы стать почти семилетним».)

Терпите малых сих. Читатели в замешательстве: как Господь мог допустить такое до того, как придумал джин? Невинность и добро-

детель — не одно и то же; «Подменши» разделяет уважение Блейка к своенравной свободе детского воображения. Уильямс самозабвенно рвет на лоскуты культурные фантазии о потерянном рае детства. Эти детки жутки и весьма назойливы. Временами Перл напоминает Гулливера, связанного лилипутами, который ворочается в дурном сне, убегая от детей вокруг бассейна. Ее хватают теплые пухлые кулачки; ее собственное имя становится пыточным инструментом: «Перл! Перл! Пыыырл!» Дети говорят на своем премудром и пугающем туземном языке. Они непроницаемы для деспотической логики взрослых. Перл любит детей, но она жаждет тишины, как кислорода.

«Дети должны бросать фрисби или типа того», — ворчит Перл, когда они вынуждают ее принять участие в их жутковатой игре. «Дети довольно-таки досаждали... Все они были маленькими вертлявыми нигилистами, и приходилось вечно защищаться от их кровожадной натуры».

Если Перл безответственная мать — это как будто даже не обсуждается — ее отказ от ответственности кажется мне ужасающе логичным, принимая во внимание ее острое понимание этого обязательства. Она слагает с себя заботу о собственной жизни; от нее зависят другие.

Она дает голос страху, который молодые матери, как и люди в целом, обычно замалчивают: «Она не хотела нести ответственность за поддержание света в себе».

Следственное бремя: мы должны продолжать помнить мертвых, иначе они снова умрут. «Памятование — это воскресение».

Впервые я встретила с Джой Уильямс летом 2010 года, у вращающейся стойки с алкоголем, которая по воле заботливых организаторов литературной конференции возникала каждый раз на закате, словно поилка для колибри. Если вы читали тексты Уильямс, прошивающие разум огненной, иномирной силой комет, вас может шокировать, что они коренятся в человеческом мире. Она была и остается моим любимым автором — жалкий эпитет для человека, чья проза заставила мои кости зацвести. Краем зрения я заметила, что прямо за мной стоит сама Уильямс. Я стала давиться существительными. Я взяла джин, но теперь и помыслить не могла хоть чем-то его разбавить.

— Просто джин? — спросил изумленный бармен.

— Да.

Я пила чистый джин с лимоном из высокого стакана. Я представилась Джой Уильямс. Мне бы хотелось пересказать вам, о чем мы с ней говорили, но джин смыл мою память; осталось смутное воспоминание о том, как я рассказываю какой-то бредовый анекдот и размахиваю руками точно марионетка. На следующий вечер Джой Уильямс снова представилась мне, словно мы впервые встретились. Я почувствовала милость судьбы; и как всякая милость — Уильямс находит немало выразительных способов, чтобы показать это в своем творчестве, — она была незаслуженной.

Перл грешит выпивкой, и не случайно ее любимый напиток джин. Вы можете увидеть в этой жажде алкоголизм, стремление найти убежище в войлочных стенах пьяного оупения. Но я вижу в этом — не то чтобы я спорила с диагнозом алкоголизма — своеобразные защитные чары. Джин — это ледяная крепость вокруг трепещущей внутренней жизни Перл, ее грез и озарений, яблочно-рдеющих знаний, «музыки одновременно внятной и непередаваемой». Я помню, как ребенком иногда притворялась больной, чтобы обеспечить себе алиби ради неистовых извивов своего ума. Находя убежище за стеной лихорадки, я могла скрывать цветущий зеленый мир от ехидства и безгливости

взрослых, от взрослой неадекватности. И похоже, что джин служит чем-то подобным для Перл. Пьянство дает ей фундамент для магии в этом романе, для ледяного преобразования обыденности. Ее опьяненный разум становится чем-то вроде плавучего дока в пределах книги, якорем которому служит ее чувство вины.

Пьянство также служит Перл защитой от тиранических нападков Томаса, эмпирика «с жестокой жилкой»* (она проходит от подмышки до бедра, как считают дети). Как и его библейский тезка, Томас** безоговорочно верит чувственному восприятию. Тогда как Перл ошалело понимает, что стоит лишь моргнуть — и ее реальность может оказаться иллюзией; подобно Иову, она видит изъян в самом зрении: «Чувства такие ненадежные. Она не могла положиться ни на одно из них». В алкогольном угаре Перл постигает совершенно невыносимую истину: «Все было видимостью. Все, что думал разум, что говорил язык и что чувствовало сердце».

Ближе к концу романа Томас обвиняет Перл в том, что она становится детской «юродивой». Пьянство, как и безумие, защищает пророков

* Английское выражение, означающее склонность к жестокости.

** В английском имя Томас соответствует библейскому имени Фома.

еретической истины от недоверия, возмущения и расправы. Если вы пьяны, никто не будет принимать вас всерьез; если вы пьяны, всегда есть надежда, что вы протрезвеете и «будете разумны». Художественное творчество проделывает нечто подобное. Внутри батисферы романа читатели входят в контакт с тьмой, которую в ином случае наш испуганный разум мог бы отвергнуть. Как ни парадоксально, но беспрерывное пьянство Перл заземляет «Подменыша». Оно примиряет нас с узнаваемой хронологией, с циклом действий и последствий: в стаканах тают кубики льда, разум расправляет и складывает свои крылья, хмельные ночи и похмелье по утрам. Кроме прочего, это нас обезоруживает. Я думаю, что мы, читатели, более восприимчивы к определенным отрезвляющим истинам *потому*, что Перл пьяна.

«Перл всегда подозревала, что вселенную создала некая сверхчеловеческая сила для чего-то, по большому счету, недочеловеческого».

Вот черт! От такого у кого угодно в горле пересохнет.

Как можно сказать хоть что-то о «Подменыше», не допуская кощунства по отношению к его глубокой тайне, его благоговению перед

невыразимым, к животному сердцу творения? Обыденные критические подходы кажутся превратными в отношении того света, что изливается с этих страниц. Как и в отношении ТЬМЫ.

Я читала этот роман, когда моему сыну было четыре, и пять, и шесть месяцев. Вот как медленно я его читала, делая глубокие вдохи между абзацами. Для меня это была пора глубокой тишины, время тихих напевов. В моем теле поселился страх и трепет. Мы совершали вместе долгие прогулки, мы с младенцем, завернутые в одно пальто. Сквозь снежную завесу к нам подскакивали собаки, обнюхивая и облизывая моего сына; они признавали его своим сородичем, животным среди людей. Я получала благонамеренные письма из больницы: «Когда же кончатся подгузники?», «Общие проблемы тазовой диафрагмы», «Самый главный человек для вашего младенца: ВЫ!»

«Да уж, да уж», — думала я. Казалось, нет такого языка, который мог бы выразить тот космос, что открылся во мне, когда я рожала сына. Но затем я прочитала *«Подменьша»*.

Это было холодное и лихорадочное время, февральский свет в Портленде, когда казалось, что я занята с ребенком круглые сутки, а время слетело с катушек, отчего наш сын удвоился

в размерах за три месяца, но иногда время словно замирало, так что я различала на слух каждую каплю, образующую голубые сталагмиты внутри пещеры настоящего момента. 5:02 утра. 5:03 утра. Я была одержима неистовой радостью. И почти все время чего-то боялась. А еще мне снились сны.

Я никогда не говорила об этих снах ничего конкретного, сознавая, что полночное видение, высказанное в стенах больницы, немедленно становится симптомом.

Я боялась, что врачи попытаются притупить лекарствами восприимчивость моих новых щупальцев; я боялась исказить это невыразимое понимание, попытавшись высказать его. И знаете, я все еще этого боюсь. Я ощутила в себе безумие любви.

Иногда врачи говорят об этом ощущении так, словно это временное помешательство — «грудная хандра» — и вскоре мать от него излечится. Уокер сам ставит такой диагноз, цинично вешая на Перл ярлык глупой мамочки, управляемой гормонами, истерящей по любому поводу. «Твой мир ограничен телесными побуждениями и отправлениями, — говорит он. — Ты ничего не понимаешь». В дальнейшем Томас обвиняет ее словами, которыми люди мира, здравомыслящие люди, с давних пор клеймят женскую

логику: «Чокнутая. Сука». Я считаю, в этом есть что-то крайне высокомерное, в таком понятии, как «грудная хандра». Трепетный страх, следующий за деторождением, заслуживает большего почтения. Подобно Перл, другие матери также могут слышать шум прилива «вечно-текущего» настоящего. Они знают, что даже при наилучшем раскладе время заберет у них все.

«Для Перл дети никогда не олицетворяли разумное начало. Дети выросли. Они исчезли, не умирая».

«Мой малыш. Прошу вас, у меня был малыш. Прошу вас, верните моего малыша. Он был у меня в руках».

«У меня всего лишь нервный срыв», — заверяет себя Перл в больнице, потеряв Уокера и своего ребенка в болоте, окутанном желтым дымом. Это что-то говорит о нашем человеческом уделе — что безумие было бы утешением в таком переплете.

Врачи допускают ошибку, разыскивая источник депрессии внутри женщины, а не во внешнем мире.

«Когда-то, на заре времен, человек мог стать животным по своему желанию, а животное могло стать человеком».

Дети — это дети, поскольку они существуют на заре своего времени, в долгий предрассветный час, когда еще ни время, ни смерть не пустили корни в их сознании. Несмотря на то что генетически они обусловлены вплоть до ногтей, каждой своей клеточкой, сформированной за тысячелетия эволюции, они живут в своих телах с такой легкостью, не обремененные воспоминаниями, не обузданные правилами приличий. Перл воспринимает взросление как потерю под видом прогресса, как изгнание, отделяющее человека от животных: «Тайное общество детства, исключение из которого знаменовало начало смерти». Часть боли «Подмышка» состоит в ощущении бега времени. Время осмотически пропускает этих ребятишек через свою мембрану, превращая их в нечто, подобное нам, во взрослых, скованных хрупкими панцирями своих эго.

Что это может значить — стать недочеловеком? Стать подобным ребенку, животному?

В заключительной трети «Подмышка» собирается буря, ужасающая и неминуемая перемена, нарастающая в атмосфере острова. Она обещает полное уничтожение и жестокое перерождение. Томас, при всех его собственнических разглагольствованиях о своих юных питомцах, фатальным образом недооценивает их.

Именно дети указывают Перл дальнейший путь, а не наоборот. Им присуща переменчивость.

Могла бы она быть как одна из них? — задается вопросом Перл. «Она надеялась на это. Внутри нее тоже было животное, детеныш, клубочком обернувший ее сердце, верующий зверь, познавший Бога».

За несколько месяцев до рождения сына мы отправились в Игл-Крик — как и каждую осень в Орегоне — смотреть на нерест лосося. Лосось спаривается среди макабрических останков своих предшественников, мертвой и гниющей рыбы, иногда истлевшей до лиловой прозрачности. На отмелях поблескивают серебристые костюмы. Вот где жизнь разоблачается.

Каждый раз, как мы добираемся до вершины реки, меня снова поражает зрелище прозрачных кожиц, проплывающих мимо охваченных страстью парочек, мимо самочек, мечущих икру. В тот раз я долго смотрела на это. Медленно, до нелепости медленно ко мне приходило понимание: жизнь вылупится из меня и ринется в будущее, приняв форму нашего сына.

В больнице я вспоминала, как из воды выскакивают большие лососи, их хвосты мель-

тешат над валунами. Сотрясаясь в спазмах на узкой койке, я усвоила, что жизнь так же непреодолима, как и смерть. Мое конвульсивное тело постигло это в момент рождения сына. Смерть придет, такая же неотвратимая и неумолимая, как и все, что случается во сне. Но жизнь продолжится.

«Однажды, — признается Перл, — она подумала, что сошла с ума и что может выздороветь. Она подумала, что должна стать собой. Но не было никакой “себя”. Были просто сны, которые ей снились, сны, готовившие ее к сознательной жизни... Дети тоже жили своей жизнью, новыми формами, которыми свершится будущее».

«Подменьши», как никакая другая из прочитанных мною книг, озарен искрой жизни, жизни под тысячью шкур. Ее мудрость невозможно пересказать. Перерождение, как обнаруживает Перл, можно только пережить на собственном опыте. «Тебя послали сюда, чтобы спасти меня?» — спрашивает Перл Сэма, подмененного сына, охваченная ужасом от мысли об условиях такого спасения. Перерождение — это смерть и возрождение.


Карен Расселл, 2018

Дальше, чем кровь или кости,
дальше, чем хлеб;
за возлияниями, пожарищами
знай себе летишь.

Знай себе летишь один, уединенно,
один на один с мертвыми,
один на один с вечностью,
без тени, без имени, знай себе летишь,
без сладостей и рта, и зарослей роз,
знай себе летишь.

Пабло НЕРУДА

глава первая

 В баре сидела молодая женщина. Ее звали Перл. Она пила джин с тоником и держала правой рукой младенца. Младенцу было два месяца, и его звали Сэм.

Бар был не так уж плох. Рядом с женщиной сидели вполне приличные люди и хрустели вафельными трубочками. Бар обещал спасение от жары, и это были не просто слова. В центре витрины висел полярный медведь из искусственного хрусталя. За окном была Флорида. Через улицу высился белый торговый центр, перед которым выстроились белые седаны. Тяжелый белый воздух висел слоями. Перл видела их предельно отчетливо. Средний слой был сплошь сновидение и недопонимание и беспокойство. Поверху вещи двигались с несколько большим апломбом и напором, а на дне было

неугомонное настоящее. Оно было здесь и сейчас, оно всегда было здесь и сейчас и впредь намеревалось быть здесь и сейчас. Перл всегда сознавала это. Обычно это делало ее умеренно безвольной и нерешительной.

На ней было дорогое платье, однако заляпанное и не по погоде. Она была без багажа, но с немалыми деньгами. В то утро она только прилетела с севера и заселилась в отель чуть больше часа назад. Она сняла одноместный номер. Служащие поставили кровать для Сэма. Когда они спросили ее имя, она ответила, что ее зовут Туна*, что было неправдой.

— Туна, — повторил служащий. — Это, несомненно, необычное имя.

— Да, — сказала Перл. — Я с детства его ненавижу.

Отель был вблизи аэропорта. Вблизи аэропорта сотни отелей и частных квартир; тем не менее Перл не могла отделаться от ощущения, что поступила чересчур предсказуемо. Она была впервые в этом городе, но чувствовала, что это предсказуемый выбор для беглянки. Она съедет отсюда завтра и углубится в дебри города. Возможно, найдет гостиницу для туристов.

* В английском слово «Туна» имеет несколько значений: тунец, плод кактуса нопаль и женские гениталии.

Там будут черные шторы и терраса по периметру. На террасе будут сидеть добрые дородные женщины, поедая с тарелок лаймовые пироги. Она станет одной из них. Она состарится.

Она почувствовала, как ей прожигает спину взгляд Уокера. Его хитрый и молчаливый взгляд. Перл ощутила спазм в животе. Она резко обернулась, но ничего не увидела. Младенец проснулся и глухо замычал.

Перл заказала еще джина с тоником. Официантка почему-то не расслышала ее.

— Что? — сказала официантка.

Перл подняла стакан.

— Один джин с тоником, — повторила она.

— Разумеется, — сказала официантка.

Перл часто мямлила и выражалась неясно. Нередко людям казалось, что она намекает на что-то, иносказательно, хотя она не думала ни о чем таком. Слова давались ей с трудом, она в них вечно путалась. Как-то раз дети ей сказали, что небо называют небом потому, что его настоящее название слишком ужасно. Перл чувствовала, что знает все ужасные слова, но ни одной их замены. Именно субституция делала возможным культурное общение. Всякий раз, как Перл отваживалась на культурное общение, у нее выходила какая-то белиберда. Ей никогда не удавалось найти подходящие

эвфемизмы. Уокер говорил ей, что смерть — это эвфемизм. Но, так или иначе, стук в дверь, посланник, гость у порога не всегда означают смерть, не так ли?

Перл так считала; пожалуй, что да.

Официантка принесла ей джин с тоником. Это была приятная девушка с короткими светлыми волосами и серебряным крестиком на шее. Ставя напиток на столик, она чуть наклонилась. Перл уловила легкий запах кошачьей мочи. Нехорошо так с моей стороны, подумала Перл беззлобно. Вещи во Флориде иногда пахли кошачьей мочой. Из-за растительности.

— Почему вы носите крестик? — спросила Перл.

Девушка взглянула на нее с легкой неприязнью.

— Нравится по форме, — сказала она.

Перл такой ответ показался грубоватым. Она вздохнула. Она начинала пьянеть. Ее скулы порозовели. Официантка вернулась к бару и стала разговаривать с молодым человеком, сидевшим за стойкой. Перл представила их в какой-нибудь замызганной комнате после закрытия, как они раскатывают тесто по своим телам и поедают его в каком-то буржуазном ритуале. Перл растопырила пальцы и подперла скулу. Ее мучило чувство вины и досады.

Кроме того, ей казалось, что она сделала глупость. Она убежала из дома, от мужа. Она взяла своего младенца и украдкой, тайно заказала билет на самолет. Она села в самолет и за три часа проделала тысячу двести миль. Такой маневр был необходим! Организация! Дома, на острове мужа, с ней всегда кто-нибудь говорил. У нее больше не было сил терпеть это. Она должна была начать новую жизнь.

Иногда Перл думала, что вовсе не хочет начинать новую жизнь. Она бы хотела быть мертвой. Перл чувствовала, что мертвые продолжают вести существование, весьма схожее с их прежними мучениями, только более блеклое и однообразное, не такое шаткое. Она пришла к такому взгляду на смерть после долгих размышлений, но это не дало ей ни малейшего облегчения.

Перл беспокойно прикладывалась к стакану. До недавнего времени она, можно сказать, не пила. Она напилась один раз, когда ей было четырнадцать, а за прошлый год она пила, наверно, дюжину раз — за весь год.

Когда ей было четырнадцать, она выпила с рыжим мальчишкой почти пол-литра джина из бутылки 0,75 в заброшенной купальне дождливым летним днем. На ней был свитер поверх забавного купальника в ромбик. На стене купальни кто-то нацарапал «МАНДАВОШКА».

После того как они выпили джин, рыжий мальчишка разлегся на ней, прямо в одежде. Выплыв из забытья, она не могла решить, можно ли это считать вступлением в половую жизнь. Она поспешно вернулась домой и приняла горячую ванну, очень горячую. Ничего не болело. Она все лила и лила на себя горячую воду. Она думала, что беременна. Когда же выяснилось, что это не так, она стала бояться, что бесплодна. Она была уверена в этом до некоторых пор. Теперь она убедилась, что не бесплодна. Теперь у нее был этот младенец. Ей дал его Уокер.

Она снова взглянула на Сэма. Вид у него был зачаточный, но цветущий. Он был младенцем. Ее младенцем. Все говорили, что он идеален, и это было так, действительно славный малыш. У него были темные волосики и умилительная родинка в форме полумесяца, знак его уникальности. Шелли, вернувшись на остров со своим младенцем, сказала Перл, что рожать — это как высрать арбуз. Перл никогда бы не выбрала столь отталкивающий эпитет, но она тоже чувствовала, что деторождение — это крайне неестественный процесс. Выродив Сэма, она ослепла на полтора дня. Ее слепота не была темнотой. Нет, ее слепота просто убрала все привычные ей вещи — комнату, кото-

рую она делила с Уокером, вид на луг, все их лица и очертания — и заменила вредными заблуждениями.

Она представляла, что ребенок родился мертвым и вернулся к жизни только от яростного крика Уокера. Уокер был мужчина волевой, заметный, одаренный. Перл вполне допускала, что ему по силам такое.

Перл отметила, что смотрит уже не на младенца у себя на коленях, а на затылок официантки. Официантка медленно повернулась к Перл. Перл подняла руку. Официантка на миг задержала на ней взгляд, а затем сказала что-то бармену. Бармен потянулся за вымытым стаканом и стряхнул с него капли воды. Взяв бутылку джина, он наполнил стакан.

Перл опустила руку не сразу, а провела ей по волосам.

Завтра она подстрижется и попробует изменить внешность. Завтра она забудет прошлое и будет думать только о будущем. Вчера было частью всегдашнего никогда. Завтра был Хэллоуин. Она видела плакаты в аэропорту. Там намечалась вечеринка для престарелых. Завтра Перл намеревалась приложить все усилия, чтобы втиснуть гигантский реальный мир на место.

Официантка принесла джин и тоник и поставила их рядом с прежними, почти нетро-

нутыми. Перл начала их пить. Ее обручальное кольцо, золотое, стукнуло о стекло. Это кольцо было частью всегдашнего никогда. Она попыталась стащить его с пальца, но не смогла. Всегдашнее никогда было миром семьи Уокера, внутренним миром, который она покинула, — дом на острове. Солнце за окнами продолжало сиять с упорством маньяка. Неужели ему еще не пора закатиться? Ее руки дрожали. Руки были самым уродливым в ней. Угловатые и не по годам морщинистые. Она уставилась на них и неожиданно представила, как держит расческу и расчесывает Уокера.

Уокер ее найдет. Она вдруг поняла это. А если не Уокер, так Томас уж точно.

Томас, брат ее мужа. Человек мира. Человек крайностей, гнева, амбиций. Они с Уокером были очень похожи. Цвет кожи и вес у них совпадали. Густые волосы, губы... Разница, конечно, была в том, что Уокера Перл видела сердцем. И все же как-то раз Перл так неловко ошиблась. Она приняла Томаса за Уокера. Вскоре после того, как она прибыла на остров, поздним вечером, на лестничном пролете за дверью их спальни. Он стоял к ней спиной. Смотрел на книжные полки.

— Ты скоро идешь в кровать? — спросила она, коснувшись его руки.

Томас обернулся и посмотрел на нее, отстраненно, иронично, без следа любви, и мягко проследовал мимо, ничего не сказав. Она была благодарна ему за такую деликатность, но вернулась в свою комнату, дрожа и потев от страха. И сидела там, глядя на разные предметы интерьера, не в силах постичь их назначения или способ применения — страх сковал ее, спутав желания и основные понятия. Лампы, шкапулки, фотографии, емкости с таблетками и ароматами. К чему все это? Что представляли собой лица вещей? Что именно ей следовало узнавать?

Когда ближе к ночи открылась дверь в спальню, Перл крепко закрыла глаза.

— Уокер, — сказала она, — я увидела Томаса перед этим в холле и подумала, что это ты.

Мужская фигура приблизилась и нависла над ней. Перл подняла руку и коснулась гладкой кожи груди.

Она услышала голос Уокера:

— Разница между Томасом и мной в том, что он не нуждается в женщинах.

Такое замечание не принесло Перл ощущения, что с ней намерены считаться. Она не хотела, чтобы хоть кто-то из них в ней нуждался. На острове была дюжина детей, или около того, и пять взрослых. Томас, Уокер, Мириам

и Шелли — они составляли семью. И был еще Линкольн, муж Шелли. Когда-то он был ее учителем в колледже. Судя по тому, что о них говорили, Шелли его похитила.

Перл полагала, что ее в каком-то смысле тоже похитили. В этой семье, несомненно, все делалось не как у людей. Мальш Шелли был всего на несколько дней старше Сэма. Его называли Трэкером*, что казалось Перл довольно нелепым именем, хотя она считала, что Шелли таким образом хотела польстить Уокеру**. Шелли уехала из дома в школу и вернулась с мужем и ребенком. Линкольн был напыщенным типом, начинавшим сопеть всякий раз, как считал, что высказал веский довод в разговоре. Чем именно жил Линкольн, оставалось неясным, но одно про него можно было сказать наверняка: он взрослый. Перл никогда не могла определиться, следует ей относить себя к детям или взрослым. Вершки или корешки, если так можно выразиться.

Перл отпила свой джин.

Она проводила с детьми большую часть времени. Они всегда выискивали ее и напере-

* Англ. «Tracker» может означать следопыта, инспектора или буксир.

** Англ. «Walker» может означать посыльного, скорохода или ходунки — букв. «тот, кто (то, что) ходит».

бой говорили ей что-то. Перл чувствовала, что они склоняют ее к пьянству. Но это было в порядке вещей. Они ведь были детьми. На самом деле они ей нравились. Что заставило ее покинуть остров, отчего она почувствовала, что не выживет там больше ни дня, так это Томас.

Перл не хотела, чтобы ее маленький Сэм подвергался влиянию человека, способного сломать детский разум, словно веточку. Она винила Томаса в том, что случилось с Джонни. Никому другому, похоже, не приходило это в голову, но Перл не сомневалась в его причастности. Джонни был чувствительным ребенком, и Томас с ним переусердствовал. Томас считал Джонни талантливым и вознамерился развить его таланты. Что любил Джонни — это персики, ракеты из бутылок и сидеть на табуретке на кухне и помогать своей маме, Мириам, печь пирожки. Он был милым мальчуганом, мечтательным и впечатлительным, но с простыми потребностями. Он не смог освоить весь тот хлам, что Томас обрушил на его голову.

Джонни было шесть лет, но когда Перл последний раз зашла к нему в комнату и взглянула на кровать, она увидела вовсе не шестилетнего мальчика, а белую массу, напоминавшую поднявшееся тесто, в которое всунули лицо на сотый день после закваски.